

Александр Степанович Грин

Возвращение



Александр Степанович Грин

Возвращение

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=271552

Аннотация

Корабль, море, экзотические страны. И экипаж – люди, «побывавшие во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на тёмных от ветра лицах». А среди них – крестьянин Ольсен, равнодушный к «блеску океана», бесконечно тоскующий по «глухой деревне», где живут его сестра, мать и отец; и одолеваемый слуховыми галлюцинациями: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам!.. Иди и живи здесь...»

© *FantLab.ru*

Содержание

I	4
II	7
III	9
IV	11

Александр Степанович Грин Возвращение

I

На «Бандуэре», океанском грузовом пароходе, вышедшем из Гамбурга в Кале, а затем пустившемся под чужим флагом в порт Прест, служил кочегаром некто Ольсен, Карл-Петер-Иоганн Ольсен, родом из Варде. Это было его первое плавание, и он неохотно пошел в него, но, крепко рассчитав и загнув на пальцах все выгоды хорошего заработка, написал домой, своим родным, обстоятельное письмо и остался на «Бандуэре».

Как наружностью, так и характером Ольсен резко отличался от других людей экипажа, побывавших во всех углах мира, с неизгладимым отпечатком резкой и бурной судьбы на темных от ветра лицах; на каждого из них как бы падал особый резкий свет, подчеркивая их черты и движения. Ритм их жизни был тот же, что ритм ударов винта «Бандуэры», – все, что совершалось на ней, совершалось и в них, и никого отдельно от корабля представить было нельзя. Но Ольсен, работая вместе с ними, был и остался недавно по-

кинувшем деревню крестьянином – слишком суровым, чтобы по-приятельски оживиться в новой среде, и чужим всему, что не относилось к Норвегии. В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет.

Чем дальше подвигалась к югу «Бандуэра», тем более чувствовал себя Ольсен как в отчетливом сне. Плавание казалось ему долгой болезнью, которую нужно перетерпеть ради денег. Отработав вахту, он ложился на койку и засыпал или чинил белье; иногда играл в карты, всегда понемногу выигрывая, так как ставил очень расчетливо. Раз, в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с «Бандуэрой» в трепете прекрасного света к тропическому безмолвию. Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далей, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену, – и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз.

Неподалеку от Преста, когда «Бандуэра» оканчивала последний переход, Ольсен, спускаясь по трапу в сияющее сталью машинное отделение, почувствовал, что слабеет. Это

был внезапный обморок – следствие жары и усталости. Блеск поршней свился в яркий зигзаг, руки разжались, и Ольсен упал с трехсаженной высоты, разбив грудь. Некоторое время он был без сознания. Доктор повозился с Ольсеном, нашел, что внутреннее кровоизлияние отразилось на легких, и приказал свезти пострадавшего в лазарет. Там должен был он лежать, пока не поправится. Ему сказали также, что по выздоровлении он будет бесплатно отвезен в Гамбург.

«Бандуэра» выгрузилась, взяла местный груз, уголь и ушла обратно в Европу. На горизонте от нее остался дымок. Лежа у окна лазарета, Ольсен посмотрел на него с напутствующей улыбкой, как будто этот дым, стелющийся на запад, был его гонцом, посланным успокоить и рассказать.

Путешествие кончилось. Жалованье получено сполна, отправлено почтой в деревню. Мир выпускал, наконец, Ольсена из своих ненужных и обширных объятий. Теперь Ольсен мог плыть только назад.

II

Лазарет, где лежал кочегар, стоял на холме, за городом. Его верхний этаж состоял из спускных тентов, превращающих больницу в веранду. Отсюда видны были порт, океан и – очень близко от стены лазарета – группы растений, покрытых огромными яркими цветами, подобных которым Ольсен не видел нигде. Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега, – беспокоили его, как дурман, власть которого был он стряхнуть не в силах. Казалось ему, что на нем надето стеснительное парадное платье, заставляющее жалеть о просторной блузе.

Кроме Ольсена, в том же помещении лежали распухший от водянки француз, китаец, высохший и желтый, как мумия, и несколько негров. Не зная языков, Ольсен не мог говорить с ними; но если бы и мог, то предпочел бы все-таки лежать молча. В молчании, в неподвижности, в мыслях о родине он чувствовал себя ближе к дому. Вечером, засыпая, он думал: «Марта доит корову, старуха варит рыбу, отец засветил лампу, вымыл руки и сел к огню курить». Тогда тьма внезапно оборачивалась в его сознании утренней свежестью, и он видел не летний деревенский вечер, а глухой зимний рас-

свет. Ольсен задумчиво, с неудовольствием улыбался, смотрел некоторое время перед собой в полную огней тьму и сосредоточенно засыпал.

III

Время шло, а он худел, слабел, кашлял; испарина и лихорадочное состояние усиливались. Наконец, не видя никакой нужды держать неизлечимо больного кочегара, доктор сказал ему, что у него чахотка и что северный воздух будет полезнее Ольсену, чем лихорадочный тропический климат. Он прибавил еще, что на днях придет пароход, направляющийся в Европу, что бумаги и распоряжения администрации относительно Ольсена в порядке; таким образом, ему предоставлялся выбор: остаться здесь или ехать домой.

В тот день, когда Ольсен узнал правду, его силы временно вернулись к нему. Он был возбужден и мрачен; ликовал и скорбел, и та внутренняя нервная торопливость, какую стремимся мы, когда это не от нас зависит, приблизить желаемое, — наполнила его жадной движением.

Он встал, оделся в свое платье, подумал, постоял у окна, затем вышел. Несколькими тропинками он достиг берега. Белый песок отделял море от стены леса, склоненной с естественного возвышения почвы к Ольсену нависшими остриями листьев. Там, в сумраке глубоком и нежном, дико блестя отдельно озаренные ветви. Там выглядело все, как таинственная страница неизвестного языка, обведенная арабеском. Птицы-мухи кропили цветным блеском своим загадочные растения, и, когда садились, длинные перья их хво-

стов дрожали, как струны. Что шевелилось там, смолкало, всплескивало и нежно звенело? что пело глухим рассеянным шумом из глубины? – Ольсен так и не узнал никогда. Едва трогалось что-то в его душе, готовой уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканных из солнца и тени, – подобных саду во сне, – как с ненавистью он гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол, так обиженный, ограбленный среди монументального праздника причудливых, утомляющих див. Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных, с светлым бесстыдством гурии, – поднял ее, бросил и, сильно топнув, разбил каблуком, как разбил бы стакан с ядом. Чем дальше он шел, тем тоскливее становилось ему; сердце и дыхание теснились одно другим, и сам он чувствовал себя в тесноте, как бы овеванным пестрыми тканями, свивающимися в сплошной жгут. Солнце село; огромный, лихорадочно сверкающий месяц рассек берег темными полосами; прибой, шумя, искрился на озаренном песке. Пришла ночь и свернулась на океане с магнетической улыбкой, как сказка, блеснувшая человеческими глазами.

Ольсен остановился: глухой, с шумом воды, пришел издалека голос: «Ольсен, это мы, мы! Скорее вернись к нам! Это я, твоя милая сестра Марта, и твоя старая мать Гертруда; и это я – твой отец Петере. Иди и живи здесь...».

IV

Два месяца плыл Ольсен обратно на пароходе «Гедвей», затем прибыл домой и, походив день-два, лег. Но теперь свободно, устойчиво чувствовал он себя, был даже весел и, хотя речь свою часто прерывал мучительным кашлем, был совершенно уверен, что скоро выздоровеет. Ничего не изменилось за время его отсутствия. Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад.

Он лежал, изредка рассказывая о жизни на пароходе, о чужих странах. Можно было и продолжать слушать его и уйти: так рассказывают о посещении музея. Но с увлечением, с страстью говорил он о том, как хотелось ему вернуться домой. Чем больше он вспоминал это, тем ярче и прочнее чувствовал себя здесь, – дома, на старой кровати, под старыми кукующими часами.

Но бой часов этих начинал все чаще будить его ночью; жарче было дышать в бессонницу; сильнее болела грудь. В маете, в страхе, в угрызениях совести за то, что «не работник», прошла зима. Наконец, весной, стало ясно ему и всем, что конец близок.

Он наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, Ольсен попросился сесть у окна.

Мерзнувший, весь в поту, с подушками под головой, Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легко-го последние глотки воздуха. Тоска, большая, чем в Преете, разрывала его. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела и смешно билась, махая руками и ногами, крошечная, как лепесток, девочка.

– ...Дай!.. – кричала она, выговаривая нетвердо это универсальное слово карапузиков, но едва ли могла понять сама, чего именно хочет. «Дай! Дай!» – голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсинном масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других – и все, решительно все: – не это ли хотела она?! Перед ней стоял мир, а ее мать не могла уразуметь, что хочет ребенок, спрашивая с тревогой и смехом: – «Чего же тебе? Чего?»

Умиравший человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные пути, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он – человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и

оттолкнул в Преете.

– Мы все поедem туда, – сказал он. – Там – рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.

Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой – там.